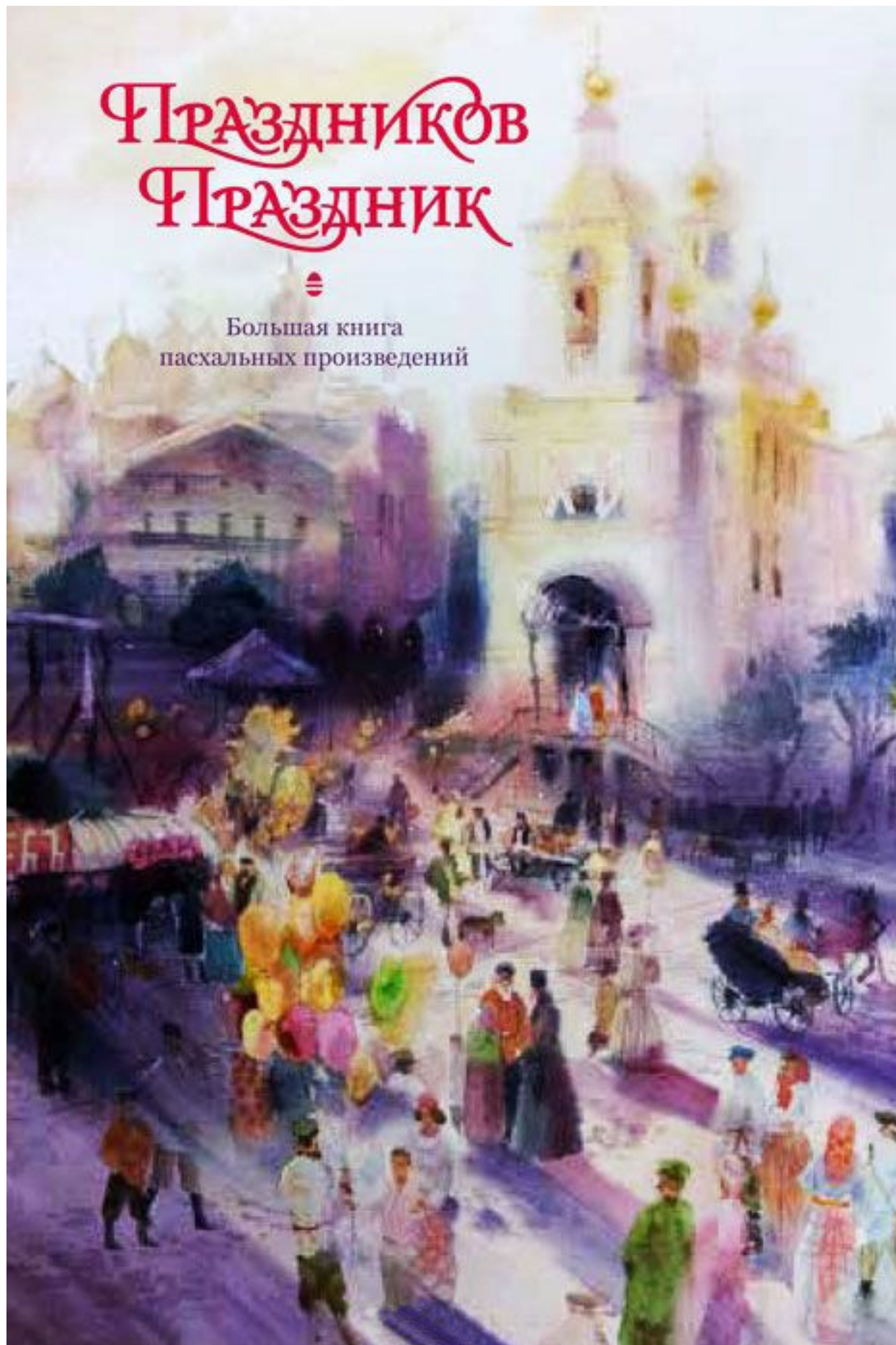


# ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК



Большая книга  
пасхальных произведений



Коллектив авторов

**Праздников праздник. Большая  
книга пасхальных произведений**

«Никея»

2015

УДК 821.161.1  
ББК 84Р7

### **Коллектив авторов**

Праздников праздник. Большая книга пасхальных произведений /  
Коллектив авторов — «Никея», 2015

ISBN 978-5-91761-525-7

В этой красивой подарочной книге собраны повести, рассказы и стихи русских писателей и поэтов о Празднике Воскресения Христова. Эти произведения хочется перечитывать, осмысливать, обсуждать — именно на такое чтение вдохновляет нас русская духовная классика. Книгу украшают цветные иллюстрации, выполненные в технике акварели, дизайнерская обложка. Большая книга пасхальных произведений станет дорогим и памятным подарком другу или близкому человеку и займет достойное место в семейной библиотеке.

УДК 821.161.1

ББК 84Р7

ISBN 978-5-91761-525-7

© Коллектив авторов, 2015

© Никея, 2015

## Содержание

От издательства	6
Зинаида Гиппиус	7
Святая плоть	7
I	7
II	10
III	12
IV	14
V	15
VI	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# **Праздников праздник**

## **Большая книга пасхальных произведений**

© Издательский дом «Никея», 2015

\* \* \*

## От издательства

Великий русский писатель Иван Бунин в одном из своих выступлений соединил образ Пасхи с образом национального возрождения. Бунин призвал свято верить в то, что по великой милости Божьей «камень от гроба будет отвален» и Россия обретет жизнь, победив собственным возрождением все испытания.

Праздник Светлого Христова Воскресения – это вселенская радость, преодоление смертности, победа над внутренним и окружающим злом, это переполняющее ум и сердце благодарение Творца за дар жизни, дар мысли, дар любви, благодарение за освящение этих даров в бессмертии. И конечно, Пасха – самый большой православный праздник, главное событие года для православных христиан. «Если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!» – воскликнул один из героев Василия Никифорова-Волгина. Мы переживаем Пасху в вечности, не годовщину отмечаем, но празднуем Воскресение Христово вне времени и с уверенностью свидетельствуем: «Воскресение Христово видеши...»

Долгий Великий пост, ветки вербы в Неделю ваий, свеча, принесенная домой из храма в Великий Четверг после чтения двенадцати страстных Евангелий, поклонение Плащанице в Великую Пятницу, освящение пасхальной снеди в Великую Субботу и, наконец, Светлая Пасхальная заутреня. Так мы из года в год встречаем Пасху. Что из этого запомнят наши дети? Их воспоминания могут быть значительно богаче наших. Наши бабушки-старушки, как могли, пробивали брешь в глухой стене безбожия, но целостной картины праздника – с его глубокими смыслами, томительным ожиданием и радостью встречи – не складывалось. Сейчас, слава Богу, ничто не препятствует приходу в храм, никто не запрещает держать пост и участвовать в пасхальном богослужении, в свободном доступе теперь и сокровища русской духовной литературы.

Фазиль Искандер писал, что «вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарий этому никогда не будет конца». А Николай Гоголь считал, что «в лирике наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно что-то близкое к библейскому».

В этой книге собраны повести, рассказы и стихи русских писателей и поэтов о Празднике Воскресения Христова. Чтение духовной классики достойно заполнит святые пасхальные вечера Светлой седмицы и поддержит радостное настроение все сорок дней празднования Пасхи – ведь это «праздников Праздник и Торжество из торжеств», по слову Иоанна Златоуста. Но для верного сердца каждое воскресенье – малая Пасха! Вот почему пасхальные стихи и рассказы – это чтение на все времена.

## Зинаида Гиппиус (1869–1945)



### Святая плоть

#### I

В Чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к Масленой, да не успел, и, как ни противен был ему московский масленичный шум и суета, – он себя превозмог, остался, кого нужно повидать – повидал, справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выразалось: глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но и без всякой неряшливости: высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое, темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма.

Родион Яковлевич вышел из вагона с ручным саквояжем (багажа он не возил), миновал холодные желтые залы вокзала, громадного, еле освещенного, грязного, похожего на все вокзалы губернских городов, и, толкнув тяжелую дверь, вышел на крыльцо.

Вокзал был далеко от города, версты четыре по полю. У ступенек крыльца стояло несколько широких извозчичьих саней.

– Пожалуйте, Родион Яковлевич! С приездом вас! – крикнул Федька. – Ивана нет нонче. Давно вас дожидались, еще на Масленой. Пожалуйте, духом доведу.

Глебов молча уселся в сани и запахнул медвежью шубу. Стояли морозы, последние, но крепкие, звонкие. Полозья так и визжали по маслянистой дороге. С ясного, широкого, синечерного неба светил месяц, маленький, немного на ущербе, но пронзительно-яркий от мороза.

Свежие Федькины лошади бежали бодро по голубой равнине. Кое-где в снегу мелькали темные домики. Федька-извозчик то и дело оборачивался к Родиону Яковлевичу и заговаривал, не смущаясь тем, что купец отвечал ему редко.

– Как дела изволили справить, Родион Яковлевич? Всё ли в добром здоровье?

– Слава Богу.

– Ну подай Господь. А я позавчерашнего дня Николая Семеновича на станцию возил.

– Сурина?

– Точно так. В Казань отъехали. Спрашивали, когда ваша милость из Москвы будут. Мне Евлампия Ниловна, Дунина госпожа, говорили, что каждый день ждут, ну я так и сказал, что каждый, мол, день ждут.

– А ей-то откуда знать? – сурово вымолвил Глебов.

– Через Серафиму Родионовну, не иначе. Изволили писать Серафиме Родионовне? А барыню Дунину я тогда с рынка вез.

Глебов ничего не отвечал. Старшей дочери, Серафиме, он не писал. Она и так должна ждать его каждый день.

Светать начнет, утро недалеко, Серафима знает, когда поезд приходит, и, верно, встала, ждет с самоваром.

«Лиза что?» – подумал вдруг Глебов и плотнее запахнул шубу.

Утро было точно недалеко – но еще не светало. Только месяц все выше забирался на пустынное небо, делался меньше и ярче, и от его света голубая, тихая равнина казалась еще тише. Въехали в город – и ничто не переменилось, тот же простор, та же тишина: широкая-широкая, сине-белая улица, и кажется она еще шире, потому что прямая и потому что тянутся по сторонам низенькие домики в один этаж; снежные кровли сливаются со снежной улицей, окна потухшие, только кое-где стекло сверкнет мертвым месячным светом. Нет проезжих, и собаки не лают, глухая ночь, глухой город, глухие дома, и люди в них глухие, потому что спят. Снежное море кругом молчит, со своими неподвижными белыми волнами.

Федька свернул лошадей влево, в переулок. На повороте открылись и слабо замерцали вдали золоченые главы кремлевского собора. Родион Яковлевич глянул и три раза, не торопясь, перекрестился. В ту же минуту где-то запел петух. Ему ответил другой, дальше, потом еще и еще, совсем далеко, чуть слышно.

– Третьи никак, – сказал замолкший было Федька. – Заря занимается. Пожалуйте, ваше степенство, приехали!

Дом у купца Глебова был хороший, деревянный, старый и крепкий, с широким, поместительным мезонином. Его весь занимала семья одного судейского барина. Сам Родион Яковлевич с дочерьми жил в двух комнатах, внизу, почти что в подвале, ход был в ворота, через двор. Из переулка дома и не видно, он стоял на улице.

Калитку скоро отворили. Родион Яковлевич, поскрипывая сапогами, пошел к дому. Внизу, в широком, низком окне у самой земли, тускло краснел огонь. Серафима ждала отца.

Глебов прошел через темные сени, где визгнул блок, и отворил дверь в первую горницу. Удушливое тепло его охватило. Серафима Родионовна приняла саквояж, шапку и шубу. Направо, в углу, низко, стоял киот с образами и теплилась красноватая лампада. Родион Яковлевич молча помолился, медленно кланяясь, и обернулся к дочери.

– Ну, здравствуй теперь.

Она поцеловала его руку, он поцеловал ее в голову.

– Живешь? Что Лиза?

– Слава Богу, папаша. Вы как съездили? Здоровы ли?

– Ничего. Задержался маленько, да ничего, все ладно. Самовар-то есть у тебя?

– Самовар готов, – сказала Серафима и неслышно вышла. У нее был тихий голос и тихие движения.

В этой же горнице, низкой, неглубокой, Родион Яковлевич и спал. У дверей выдавалась белая печка; между печкой и стеной в другую комнату, в углу, стояла кровать Родиона Яковлевича, за синей ситцевой занавеской. Между двумя широкими, точно сплюсненными окнами был раскинут стол, накрытый свежей, серой скатертью с красными каймами. В простенке горела жестяная лампочка. На высоком подоконнике лежали большие, видно тяжелые, желтые счеты. Громадные, низко висящие часы с розанами на посеревшем циферблате показывали теперь без двадцати пять.

Родион Яковлевич сел к столу. Вошла Серафима, вынула из стеклянного шкафика чайный прибор и початой домашний хлеб. Закутанная Дарья внесла большой шипящий самовар. Серафима, все так же неслышно двигаясь, заварила чай и села поодаль: ее совсем стало не видно за высоким самоваром.

Родион Яковлевич помолчал. Потом спросил дочь:

– Заходил кто?

– Знали, папаша, что вы в отъезде... Кому заходить? Евлампия Ниловна была.

Отец глянул из-под бровей.

– Ну, эта еще... Бабы шепотки. Небось косила, косила языком. А ты? Была где?

– На ефимонах<sup>1</sup> была, у Сергия...

– На ефимонах! В гости, спрашиваю, куда ходила?

Серафима ответила не вдруг. Как будто чуть заметная розовая тень легла на ее немолодое, бледное лицо. Заговорила она так же тихо, но торопливее:

– Я, папаша, тоже один раз у Евлампии Ниловны была. В аптеку перед вечером пошла, Лизе грудного чаю взять, а Евлампия Ниловна там. Уговорила меня, я с полчаса у них посидела.

Отец опять глянул в ее сторону из-под бровей, суровее.

– А Лизу на кого покидала?

– Дарья с ней оставалась... – еще тише ответила Серафима и протянула отцу большую фарфоровую чашку с чаем.

Родион Яковлевич чашку принял, поставил перед собой, помолчал.

– А что Лиза, нездорова, что ль, была? – спросил он хмуро.

– Нет, так, закашляла, да прошло.

– Спит?

– Спит покойно.

– Там свет у тебя есть?

– Лампада горит.

Родион Яковлевич медленно поднялся из-за стола.

– Взгляну, не видал еще, – сказал он и, осторожно ступая, пошел к притворенной двери. Серафима встала за ним.

Другая горница была побольше первой и оттого казалась еще ниже. Темный блеск лампадки едва освещал ее. Два окна выходили на двор, а два – по другой стене – в садик, и снег совсем завалил их. На широкой двуспальной постели, почти под лампадными лучами, спала, разметавшись, девочка лет пятнадцати, крупная, полная, удивительно красивая. Недлинные коричневые локоны мягко вились у лба и нежных ушей и падали слабыми кольцами на подушку. На щеках розовыми пятнами стоял румянец. Тонкие разлетающиеся брови давали не то испуганное, не то невинно-лукавое выражение ее лицу с темной тенью сомкнутых ресниц. Губы были полуоткрыты, как у спящих детей. Родион Яковлевич постоял молча, очень тихо. Лицо его стало яснее, морщины сползли со лба.

Лиза пошевелинулась и чуть-чуть застонала.

– Разбудите! – шепнула Серафима.

Глебов встрепенулся и трижды, широко, перекрестил девочку.

– Христос с тобою! Спи с Богом!

И, опять так же осторожно ступая, вернулся в первую горницу, к чайному столу.

---

<sup>1</sup> На ефимонах... – Великий покаянный канон Андрея Критского, читаемый на вечернем богослужении в первую неделю Великого поста. (Здесь и далее примеч. ред., если не оговорено иначе.)

## II

Родион Яковлевич Глебов был один из старейших и наиболее уважаемых купцов в городе. Дела он вел большие, но тихо, так что никто в точности о его состоянии ничего не знал. Он торговал мукою оптом, склады его были в пригороде, за рекою. Приказчика настоящего имел только одного, который там же в пригороде и жил. Несколько лет тому назад Глебова выбрали церковным старостой за крупное пожертвование на новоотстроенную церковь Сергия в его приходе. Всем была известна строгая, смиренная жизнь Родиона Яковлевича и его благочестие.

Серафима хорошо помнила свою мать: она умерла в самый день рождения Лизы, а Серафиме шел в то время четырнадцатый год. Мать была еще молодая, веселая, – но тихая, с карими глазами. Волосы у нее вились кольцами, как у Лизы, только она прикрывала их шелковым платочком. Жили они тогда не внизу, а в мезонине, там было светло и просторно, четыре горницы. По углам стояли тяжелые киоты, и теплились лампадки перед праздниками, а у отца неугасимая.

Серафима знала, что отец был из семьи древнего благочестия. Рассказывали, что смолоду он считался первым начетчиком и чуть не тверже отца с матерью ненавидел Православную Церковь и никониан, – а семья его старого закона очень строго держалась. Двадцати лет он был сведущ в Писании, как не бывает иной и сорока, и не раз вел степенные споры с приезжими священниками. Что с ним вдруг подеялось – никто не знал. Отверг старописные книги, в церковь пошел, отцу и матери так прямо это и объявил. Когда спрашивали, кто его смутил, он отвечал одинаково: «Никто не смутил, сам своим разумом дошел, а против своего разума ничего не могу». Характер его знали: коли скажет, что своим разумом дошел, – так уж тут назад его не повернешь. Говорили, будто отец с матерью прокляли его, в нем и в детях его, но наверно никто этого не знал. Родион Яковлевич стал жить один, а вскоре старики умерли и, несмотря на проклятие, дом и капитал отказали сыну. Родион Яковлевич опять поселился в старом доме, дела расширил и лет через пять женился на небогатой сироте, православной, которая вскоре родила ему дочь Серафиму, а через тринадцать лет – Лизу и в родах умерла.

Родион Яковлевич, суровый, молчаливый, с самого раннего детства внушал Серафиме ужас. Придет, бывало, домой, слова не скажет, за обедом бровей не раздвинет. Зашелкнется за ним дверь – а мать уж шепчет Серафиме, шепчет, головой кивает и улыбается тихо:

– Ты, Фимочка, не бойся отца. Он добрый, ты не смотри, что он такой угрюмый, он добрый.

Фимочка все была с матерью. Отдали ее было по десятому году не то в школу, не то в пансион, да скоро взяли. Довольно поучилась, а много девушке знать не годится.

– Что ты у меня какая бледная да боязливая? – говаривала мать Фимочке. – С отцом слова никогда не скажешь. Он тебя не съест, он добрый, только у него характер такой, потому что он в древнем благочестии был.

Мать улыбается, но Фимочка все-таки боится, не понимает и наконец робко спрашивает: – Мамашечка, а что это такое «древнее благочестие»?

На этот вопрос мать всегда отвечала все тем же пространством рассказом, нараспев, как Родион Яковлевич «дошел своим разумом» и как гневались отец с матерью, а ничего поделать не могли.

Но Фимочка все-таки не понимала, что такое «древнее благочестие», и ей было еще страшнее.

Мать сидела у окна, в своем шелковом платочке на пышных волосах, а девочка около нее, на низкой скамейке, и жалась к ее коленям.

– Характер у тебя боязливый, – говорила мать. – А какое оно, древнее благочестие-то, я не знаю, потому что мы из православных. Слыхала, что люди, что по старине живут, все такие

степенные да сумрачные. У них строго. Вот образа тоже. Наш образ, возьми ты хоть Спасителя али Богородицу с Младенцем, – лик светлый, волосы кудрявятся, ребеночек с улыбкою написан, и глазок у него карий, радостный. А которые по старине люди – те этого не приемлют. У них в иконе чтобы тьма была, лик черный, только глаза белые на тебя смотрят и ужасают, это точно. Я видала такие иконы, да и у нас есть в киоте, не ихние, а вроде как бы ихние, тоже старые.

Фимочка думала о древних иконах, ей вспоминалось лицо отца и снова делалось страшно.

А мать продолжала:

– Родион Яковлевич добрый. Он разумом дошел до нашей православной радости, а в сердце у него и во всем его характере – старинная строгость, потому что кто в чем вырос и возмужал, тот того не превозможет. Ну, оно и показывается, будто он суровый. В нем крепость большая. Ты покоряйся ему только, дочка, слушай его во всем.

Серафима покорялась и слушалась и все-таки боялась отца. Она верила, что он дошел разумом до «православной радости», но лик у него все-таки был темный, и сердце в нем было старое.

Когда умерла мать, пришли священники, стали петь панихиду. Лицо у Родиона Яковлевича сделалось еще темнее, но он не плакал. Серафима плакала тихими, покорными слезами. Мать лежала на столе и печально улыбалась, вся белая. Священники пели над ней, что она уж не будет больше ни печалиться, ни вздыхать, а Серафиме припоминалось, как мать ей говорила:

– Ты, Серафимочка, не смотри, что я все сижу у окна да вздыхаю иной раз, будто печалюсь. Я тебе вот о радости моей говорю, а ты то понимай, что я и сама не знаю, радость ли она или печаль. Мне в радости-то моя печаль и дорога. Вздохну я – и сладко мне. В печали моей страха нет.

И Серафиме было больно, что там, куда ушла мама, у нее отнимут ее радостную печаль.

Остались они одни. Перешли вниз. Лизе кормилку наняли. Странная была девочка, больная. Серафиме отец сразу передал домашнее хозяйство, и так оно с тех пор и пошло. На ее руках и Лиза была. Когда девочка стала подрастать – увидали, что она совсем больная. Руки и ноги у нее дергало, и чем дальше, тем больше. Говорить не научилась, ничего не понимала и не слышала, только дико мычала. Серафима к ней привыкла, а другие ее боялись, особенно, когда она стала ходить и расти. Отец звал докторов, сказали, что она глухонемая, слабоумная, что у нее Виттова болезнь и сердце не крепкое. Два раза Серафима с отцом и Лизой ездили на далекое богомолье, к мощам и к чудотворной иконе. Серафима ждала чуда, но Лиза не поправилась. Отец стал еще сумрачнее, но все чаще заходил в горницу, когда Лиза спала – а спала она тихо, спокойно, – и подолгу глядел на нее. Однажды сказал Серафиме строго и постучал пальцем по столу:

– Смотри, береги сестру! Как мать, береги ее! Ты мне за нее ответ дашь.

Лиза любила отца больше, чем Серафиму; когда он входил, бросалась к нему, мычала, дергаясь. Он часто брал ее за руку, гладил по голове и смотрел подолгу ей в лицо. Первый вопрос его был, когда он возвращался из отлучки, о Лизе.

Серафима покорно ходила за Лизой, без возмущения и без особой привязанности. Спала с ней вместе, кормила и одевала ее. У Лизы бывали припадки, она очень страдала, и тогда Серафима думала:

«Бог приберет ее, – ей там лучше будет. Жалко, мучается. Какая уж это жизнь!»

Лиза росла, выравнивалась, полнела и была очень красива, когда спала: она походила на мать. Годы шли незаметно, похожие один на другой. Бледное, длинное, тихое лицо Серафимы, некрасивое, с широкими светлыми глазами и слегка оттянутым книзу ртом, делалось еще бледнее и тише. Серафима не скучала и не терзалась: жила, не замечая годов, смотрела за

Лизой и за хозяйством, читала «Ниву»<sup>2</sup> и переводные романы; когда думала, то тихо и смутно вспоминала мать. Ходила в церковь к службам; отца боялась, но меньше, потому что слушалась его и знала, как ему угодить.

Так шла жизнь Серафимы до последней зимы, когда ей минул двадцать девятый год.

### Ш

Дня через два после возвращения Родиона Яковлевича Серафима шла из церкви домой по деревянным, мокрым мосткам своего переулка. Был час четвертый в самом начале. Морозы оборвались сразу, пришла весна, безветренная, неслышная, ласково и тихо, почти незаметно, съедающая снега. Небо стояло неподвижно-ясное, голубое, будто умытое, все в предвечернем золоте. Под снегом, в канавке, уже текли тонкие ручейки, но тоже тихие, без лепета. Нежный воздух был остр и так легок, точно вовсе его не было.

В церкви, откуда шла Серафима, только что кончилась служба покаяния. Медленно читали, медленно выходил священник в темных одеждах, говорил мучительную молитву и кланялся в землю, и все, за ним, на сырые плиты недавно отстроенной церкви склонялись до земли. Все, все возьми от меня, Господи, молились люди, все, что вложено в нас Тобою, и дай силу уничтожить во мне данное Тобою. И дай видеть его яснее, чтобы лучше уничтожить. Дух смирения и воздержания пошли мне, Господи.

И такая сила была в этих словах, что они были почти прельстительны.

Серафима не рассуждала. Она, как всегда в посту, ходила в церковь, и говорила за священником молитву покаяния, и грустила, и долго потом повторяла: «Дух целомудрия, смиренного мудрия, терпения...» И теперь она еще думала о молитве, но ей не было грустно. Нежное небо, радостный воздух дали ей вдруг испугавшую ее радость. Она даже подумала:

«Ой, что это я, грешница! Чего веселюсь?»

Но потом ей пришло в голову, что как-никак – а пост кончается Пасхой, значит, оттого и в посту радостно.

Навстречу, по пустынным мокрым мосткам, шел очень высокий молодой человек в шубе. У него было белое лицо, веселые, добрые, совсем голубые глаза и широкая золотая борода. Не рыжая, а именно золотая, бледноватого золота. Он поклонился Серафиме, улыбнулся, и глаза его стали еще добрее и веселее.

Серафима слегка ахнула и покраснела.

– От Сергия, Серафима Родионовна? Богу молились?

– Да... – сказала Серафима невнятно. – Я домой.

– Позвольте мне проводить вас. Вы говорили, рецептик один для Лизаветы Родионовны нужно вам в аптеке. Так я бы рецепт принял, нынче к вечеру было бы готово.

– Нет, что ж, – заговорила опять Серафима. – Это после как-нибудь, Леонтий Ильич. Не к спеху. Очень благодарю вас.

Они тихонько шли вместе. Леонтий Ильич Дунин, сын Евлампии Ниловны, провизор, казался еще стройнее, моложе и выше ростом рядом с худенькой фигуркой Серафимы в черном, нескладном платье. Длинное, бледное лицо ее, впрочем, порозовело и все точно осветилось тихой радостью.

– Весна будет, – сказал Дунин. – Небеса-то какие высокие.

– А я вот из церкви шла, Леонтий Ильич, и думала: отчего это, грех какой, нет во мне печали, а веселость на душе? А это, верно, погода очень уж светлая.

– Светлая погода. Хорошо.

---

<sup>2</sup> «Нива» – популярнейший иллюстрированный еженедельный журнал литературы, политики и современной жизни, издававшийся в Петербурге с 1870 г.

Серафима торопливо прибавила:

– Да и пост к Светлому празднику идет.

Леонтий Ильич поглядел на нее с ласковым недоумением. Они не очень давно были знакомы. Леонтий Ильич учился в московской школе, приехал в город недавно. Серафима с ним до сих пор все больше молчала.

– А вы такая тихая и печальная, – сказал он ей. – Смотришь, смотришь на вас – и так бы вас, кажется, и развеселил, разговорил, обрадовал, чтоб вы улыбнулись. Вот как сейчас.

Серафима улыбнулась и опять покраснела.

– Так что ж, развеселите, – сказала она.

Сердце у нее тихо билось, и воздух еще ласковее приникал к ее лицу.

– Какие мне радости? – прибавила она вдруг. – Вот и домой пришли.

Они точно стояли у калитки.

– Мамаша сегодня хотела быть у вас, – сказал Леонтий Ильич. – Если зайдет, вы ей рецепт-то отдайте. А вечером лекарство будет готово. Я вечером отлучиться рано не могу, а может, вы сами зайдете...

– Уж не знаю как, – почти шепотом проговорила Серафима и толкнула калитку. – Спасибо вам.

Она осмелела в последнюю минуту и подняла на него глаза. Он стоял высокий, веселый, тоже немного робкий и глядел на нее, чуть улыбаясь своей доброй улыбкой, Серафима ему нравилась.

Когда калитка захлопнулась и Серафима очутилась одна среди большого, снежного двора, ей показалось, что в голове у нее нет ни одной мысли, что и не может она ни о чем думать, и не хочет, а так только хочет стоять посреди двора и улыбаться.

Снег посинел, небеса побледнели, невидная весна была везде, во всем, смиренномудрая и любовная; и покорная душа Серафимы была полна ее таинственной и Божеской радостью.

«Будет Христос воскрес», – опять подумала Серафима, глядя на снега и небо и не умея иным оправдать своей радости. Небо и снег были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.

Но в эту минуту от решетки палисадника, в глубине двора, отделилась крупная фигура Лизы в черном ватном салопе и в платке. Из салопы она выросла, виднелись ноги в широких серых чулках и грубых башмаках.

Кривляясь и дергаясь, размахивая руками, девочка подходила к Серафиме. Лицо тоже дергалось, было грязно и даже не уродливо, а отвратительно. Серафима очнулась, поглядела на Лизу, и в первый раз она ей показалась страшной. Зачем она здесь, мычащая, замазанная, гадкая, – когда повсюду так тихо и чисто? Но Серафима не сказала себе этого словами, только радость ее вдруг исчезла, и она рассердилась.

– Кто тебя одну гулять выпустил? – проговорила она громко, хотя знала, что Лиза и не слышит ее, и не понимает. – Домой, домой! – прибавила она, привычными жестами, на пальцах, быстро показывая, что надо идти домой. Лиза было замычала, но Серафима взяла ее за руку и повела, не оглядываясь.

Родиона Яковлевича не было дома. Дарья объяснила, что она одела Лизу и пустила на двор, а сама на минутку отлучилась. Серафима угрюмо и сердито сняла с кривляющейся и воющей Лизы салоп, переобула, умыла ее. Лиза пошла ходить, шатаясь, по двум комнаткам и задевала, болтая длинными руками, то за притолоку, то за гири часов. Смеркалось. Серафима сидела у стола молча, не зажигая лампы, а Лиза все ходила, неровно, стучала башмаками, дергалась и слегка подвывала, будто жаловалась.

Серафима знала, что в такие дни она долго не будет спать, что ее нужно вечером мучительно укладывать, а она все станет подыматься с постели, дергаться и мычать.

## IV

На другой день пришла Евлампия Ниловна Дунина, мать Леонтия Ильича, дама полная, белобрысая. У нее были широкие, красные, трясущиеся щеки и нехорошие зубы. Ходила она не в шляпке, а в белом шелковом платке.

Чай давно отпили. Родион Яковлевич был дома, сидел в своем углу, за столом, насупившись, и молчал. Он недолюбливал Евлампью Ниловну, но уж очень они давно были знакомы, старик Дунин знавал покойную жену Родиона Яковлевича. Теперь Дунин лет пять как был в параличе, без ног. У Евлампии Ниловны, кроме сына, росли три девочки, лет восьми-десяти.

Евлампия Ниловна от чаю покраснела еще больше и распахнула шаль. Лиза чем-то занялась в углу, слышно было ее ворчанье. Серафима сидела против отца, бледная и тихая, как всегда.

– Да, надо сказать правду, надо, – журчала Евлампия Ниловна, – Леня один наша надежда. Уж это я всем говорю и вам говорила, – да что ж, коли правда! Думали – совсем погибнем, как старик-то мой сел. Ньюше три года было. Ну, думаю, что ж, видно, околевать. А тут Леня из Москвы пишет: потерпите, устройю вас. И выслал кое-что, – и ведь ухитрился! Я и решила: как-нибудь перебьемся, потерпим. Знали вы нашу нужду, Родион Яковлевич. Да вот Бог послал. И какой он, Леня, счастливый у меня! Сейчас это приехал, и сейчас ему место провизором. И квартиру Карл Степаныч дал, потому что семья, отец больной. Уж такое-то подспорье эта квартира, такое-то подспорье... Не великое дело, конечно, две комнаты...

– А куда их больше? – угрюмо сказал Родион Яковлевич. – Две комнаты и мы живем.

– Ваше дело другое, – мягко возразила гостья. – Вам не надо больше, вон весь дом ваш, да не надо вам. А у меня семья, больной, Леня человек взрослый... Тесно, тесно, говорить нечего, да спасибо, хоть с голоду не подохнем. Такой уж сын у меня удался. Счастливый он у меня.

Родион Яковлевич все хмурился. Лиза наткнулась на стул, повалила его, сама едва не упала, испугалась и завывала, Серафима пошла к ней. Гостья закачала головой.

– Сокрушает вас Лизочка-то, – проговорила она почти сладко. – Кому какой крест послан.

Родиону Яковлевичу это совсем не понравилось. Он поднялся и крикнул на Серафиму:

– Ну, что там? Чего она?

Серафима не сразу ответила:

– Ничего, папаша. Только блажит у нас Лиза со вторника. Спать не уложишь. Боль у ней, что ли, какая или так, перед припадками. Сна совсем нет.

Угомонив Лизу, Серафима подошла к отцу.

– Не взять ли ей тех капель, папаша? – спросила она тихонько.

– Каких еще?

– А помните, в третьем годе, московский доктор прописал? Еще много давать не велел, мы понемногу давали, она спать стала. И припадки были тогда легче.

– Что ж, возьми. Записаны они у тебя?

– Рецепт есть. Евлампия Ниловна, может, как домой пойдет – так захватит. Их делать еще надо. К вечеру Дарью пошлем...

– Давай, давай, милая, я захвачу, – с готовностью согласилась Евлампия Ниловна. – Сразу его Лене и отдам. Он у меня живо... Да что ты, Серафима Родионовна, спесивишься, никогда меня, старуху, не навестишь? А ведь я тебя семилеточкой видела, с мамашей. Все я да я хожу, а ты, словно графиня, дома сидишь.

– Мне нельзя, – тихонько промолвила Серафима и опустила глаза. – Я с Лизой. Да и не привыкла я.

– Что там не привыкла! Была ведь у меня. Ну и нынче заходи, за каплями-то.

– Какие гости по вечерам, – сказал Родион Яковлевич. – Пустое. Разве что за делом.  
– За делом, за делом! – подхватила Евлампия Ниловна. – Она девушка не вертушка. Приходи же; папаша вон позволил. А я, милые, пойду теперь. Что-то еще дома у меня! Прощайте, прощайте. Прощай, Лизочка. Не видит! Кудахчет, словно курочка...

Гостя ушла. Перед вечером, еще не совсем смерклось, Родион Яковлевич сказал:

– Не забыть бы капли-то.

– Я пошлю Дарью, папаша, – тихонько молвила Серафима.

Глебов помолчал.

– Дарью... А там написано, как их брать-то? Не перепутать бы чего. Сходи сама, пожалуй. Да спроси там, по сколько и что.

Серафима вспыхнула в сумерках и по внезапной своей радости поняла, что ей очень хотелось идти. Но она не сказала ни слова, только встала, зажгла лампу, повесила ее над столом, потом прошла в другую комнату одеться. Лиза сидела на скамеечке со свертком из тряпок, который был для нее не то куклой, не то вообще игрушкой. Серафима стала одеваться, торопясь, хватая не то, что нужно, точно боясь, что отец передумает и не отпустит ее. Когда она, готовая, вышла из спальни, Родион Яковлевич сидел в углу под лампой, проглядывал большую шнуровую книгу и щелкал желтыми деревяшками счетов. Серафима подошла и поцеловала у него руку. Отец едва поднял на нее глаза и молвил только:

– Скорей назад будь. Не засиживайся у этой... Она рада до полночи язык трепать.

## V

Аптека у немца Карла Степаныча Рота была прекрасная, светлая, на главной улице города. За помещением аптеки, через сени, была квартирка провизора Леонтия Ильича Дунина с семьей. Комнатки низкие, но довольно просторные. В первой обедали, ужинали, большой старик сидел в кресле; за перегородкой спал Леонтий Ильич. Во второй спала вся семья.

Серафима сидела в «зале» за столом, который стоял посередине комнаты, накрытый белой скатертью, а над ним с потолка висела лампа.

– Ты шляпку-то, шляпку сними, Фимочка, – убеждала Евлампия Ниловна. – Что это, право, в кои-то веки отпустят, и то не посидишь. Угостить-то хоть дай тебя чем-нибудь.

– Нет уж, Евлампия Ниловна, мне пора. Право, пора.

Серафима, однако, не вставала и все смотрела вниз, на белый круг скатерти, освещенный лампой.

Леонтий Ильич сидел тут же, чистенький, красивый, милый, поблескивая добрыми синими глазами.

– Если бы не капельки, а порошки вам понадобились, Серафима Родионовна, – говорил он, – так я бы вам славную коробочку выбрал. У нас есть очень красивые. Прелестные картинки. Да я и так вам присмотрю какую-нибудь, к будущему разу. Пудры можно положить, мелу чистого или еще чего...

– Спасибо вам, – почти шепотом благодарила Серафима. – А теперь мне, право, пора...

Евлампия Ниловна с видом сокрушения покачала головой:

– Несчастливая ты девушка, погляжу я на тебя, Фима. Слава Богу, не маленькая, а отца боишься, воли себе нисколько не берешь. Что это, в самом деле, к добрым людям в гости пришла и сидишь, как на иголках.

– Я за каплями, – сказала Серафима.

Больной старик Дунин, дремавший в кресле, застонал.

Евлампия Ниловна вздохнула:

– Беспокоят его здесь. Ах, теснота, теснота у нас! Девочки мои к тетке пошли, а то и повернуться негде. Не свой брат, бедность-то. Был и мой старик по торговой части, так же,

скажем, как и Родион Яковлевич. Да Родион-то Яковлевич ныне первый у нас купец по своей части, – только вот добра не на кого тратить, а моему другое определение: сиди, без ног, а семья с голоду околевай...

– Что ж, мамаша, – робко вставил Леонтий Ильич, улыбаясь и поглаживая золотую бородку, – теперь что ж Бога гневить. Теперь мы слава Богу...

– Слава Богу! Тобой одним и держимся. Ты у меня счастливый. Да велико ли у тебя жалованье на такую семью? Велико ли?

Серафима краснела, точно ее заставляли слушать то, чего ей слушать не следовало, наконец поднялась со стула, зажав крепко рукой в черной фильдекосовой перчатке сверточек с каплями.

– Уходишь? Ах ты, сиротка бедная! Некому ни приласкать тебя, ни повеселить! Другая бы девушка разве так жила, особенно если у родителя состояние? А ты и слова не скажешь, все с этой убогой-то вашей возишься. Крест Родиону Яковлевичу послан, а он на тебя его положил. Сладко, что ли, девушке век свой на убогой погубить? Сиделку бы нанять – чего лучше...

Серафима торопливо сказала, волнуясь:

– Я не жалуясь, Евлампия Ниловна. Лиза такая после мамаша осталась. Кому ж ходить за ней, как не мне? Она сама за собой не присмотрит. А я не чужая.

– Да я ничего и не говорю. Так, пожалела тебя, что жизнь твоя невеселая. А разве Лизу-то не жаль? Каждый раз смотрю и думаю: просто жалости достойно! Разве это человек? Без разума, без языка, вся больная. За чьи грехи она здесь на свете мается? Прибрал бы ее Господь, успокоил бы и вас, и ее.

– Божья воля, – так же торопливо промолвила Серафима. – Папаша очень к Лизе привязаны.

– Привязан не привязан, однако отец первый должен радоваться, если ее Бог простит. Конечно, все Его воля... Ну, прощай, Фимочка. А ты о чем думаешь? – вдруг обратилась она к сыну. – Темно. Проводи барышню домой. Ведь свободен?

Леонтий Ильич стоял уже с шапкой.

– Я и хотел, мамаша, просить позволения у Серафимы Родионовны проводить их. В переулках ныне фонарей не зажигают.

Ночь была теплая, облачная, но светлая, – за облаками стояла полная луна. Леонтий Ильич предложил Серафиме руку – она неловко оперлась на нее. Он был такой высокий, да она еще ни с кем никогда и не ходила под руку. Доски тротуаров, обнаженные, пахли сыростью и весной. Воздух, теплый и, от облаков на небе, не острый, опять ласкался к лицу Серафимы, только теперь он был весь душистый, не одна свежесть и чистота в нем были, а предчувственный аромат земли, которая должна родить травы, обнаженных деревьев, которые должны родить почки и листья. По сторонам глухого переулочка тянулись заборы, за ними, при сером свете заоблачной луны, видны были эти, пока невинные, нагие деревья, с черными, тонкими и уже совсем живыми ветвями.

– Так по двенадцати давать? – сказала Серафима дрожащим голосом.

Она говорила о каплях для Лизы. Ей хотелось сказать что-нибудь, и было все равно что, все – равно хорошо и нужно.

– По двенадцати. А то и по десяти. А больше двенадцати никак не советую, Серафима Родионовна.

– Что ж, разве ядовитые?

– Яда нет, да ведь как для кого. Не знаю, предупреждал ли врач. Я по тому сужу, что вы говорили, – у Лизаветы Родионовны сердце слабое. Тогда положительно больше двенадцати давать не следует. Мы с вами, может, целый пузырек выпьем – и ничего, а Лизавета Родионовна, при ее организме, от двадцати может заснуть и не проснуться наутро. Я знаю, у нас фармакологию строго проходили, и случаи нам приводились. Врач вас, верно, предупреждал.

– Не помню... Да я мало давала. Ужасы какие вы говорите. Может, лучше вовсе не давать?

– Нет, нет. Спать хорошо станет. И не яд это какой-нибудь! Я так сказал, для осторожности, что при слабом сердце больше двенадцати не следует брать.

Они шли несколько времени молча. Левая рука Серафимы, лежавшая на руке Леонтия Ильича, слегка вздрагивала, и сердце около нее билось часто и радостно. Серафима уже забыла о каплях, ей опять хотелось сказать что-нибудь, но она не знала что.

– А вы, Серафима Родионовна, не огорчайтесь мамашиними словами, – начал Леонтий Ильич другим, более тихим, голосом. – Я ведь заметил, что вы расстроились. Мамаша – старый человек, намученный, ей простить надо, успокоить ее надо. Конечно, всякому о своей радости следует думать, вы же человек молодой, но, скажу вам по сердцу, очень мне в вас эта покорность родителю нравится.

Он помолчал. Серафима не ответила. Сердце билось все сильнее, так что почти выдержать было нельзя.

– Я и сам прежде всего на свете родителей уважаю и почитаю, – продолжал Леонтий Ильич. – Что ж, волю себе недолго взять, да ведь радости в ней нету.

Он опять помолчал.

– Одно только: уж очень вы всегда печальная. И лицо у вас такое печальное. У меня иной раз... вы не сердитесь, Серафима Родионовна, – а, ей-богу, сердце перевертывается, когда на вас гляжу. Такой уж я есть, не могу печального лица человеческого видеть, особенно коль человек мне мил...

Серафима молчала, но и он теперь чувствовал, как дрожит ее рука. Они шли тише, нежный воздух еще ласковее, еще любовнее прикивал к ее лицу.

Фонарь блеснул у самой калитки дома. Леонтий Ильич остановился, тихонько снял руку Серафимы со своей, но не отпустил, а слабо сжал ее пальцы, похолодевшие в стареньких фильдекосовых перчатках.

– Я к вам всей душой, всем сердцем, Серафима Родионовна, – сказал он ей. – Я весь тут, какой есть. Я лгать не стану. Я вас, ей-богу, так полюбил... Вы уж не сердитесь, коли что. Я ведь не знаю. Вы...

– Я-то?

Серафима только и сказала и подняла на него глаза. При дрожании фонаря он увидел эти глаза, такие хорошие, такие влюбленные и беспомощные, – и не стал больше ничего говорить. Он наклонился и робко, едва касаясь губами, поцеловал ее в лоб.

Потом повернулся и пошел назад, а Серафима толкнула калитку, которая бесшумно отворилась и бесшумно заперлась за нею.

Дома Лиза еще не спала. Отец говорил что-то сурово, что она опоздала, что самовар не убран, – Серафима не ответила, она слушала и не совсем хорошо слышала, думала о том, что из темноты свет лампы режет ей глаза и больно смотреть. Молча, проворно и привычно делала она все, что надо, убрала со стола, раздела Лизу, осторожно накапала ей капель, которые принесла. Лиза любила лекарства и охотно выпила капли. В постели начала было буянить, но вдруг затихла и заснула. Серафима поцеловала руку у отца, ушла к себе и притворила дверь. Хотела было раздеваться, да не стала, а присела на скамеечку у широкой постели и так сидела не двигаясь. Лампадка горела у киота, в головах постели, тени шевелились на подушках и на Лизином лице. Лиза спала, и лицо у нее было опять спокойное, прекрасное и невинное.

У Серафимы до сих пор не было ни одной ясной мысли, волна радости точно закрыла ее всю; но теперь, в тишине, ей стало спокойнее. Она совсем просто подумала, простыми словами то, что никогда раньше не думала:

«Вот, замуж за него пойду».

И эта мысль не казалась ей ни непривычной, ни стыдной, ни страшной. Другие какие-нибудь слова не приходили ей в голову, да и почему другие? В этих для нее понятно уложилась вся радость:

«Вот, замуж за него пойду».

Как это будет, как устроится, она не думала. Просто – «замуж пойду» вместо «люблю».

Потом ей захотелось помолиться. Она встала на колени у постели и подняла глаза на киот. Там, посередине, за лампадным светом, стоял образ Спаса, большой, – благословение матери. В золотой ризе с камнями, весь яркий, розоволикий, ясноокий, с благостными, молодыми, синими глазами. Слева, углом, был другой образ Спасителя, но древний; от серебряной ризы лик его казался еще чернее; Серафима видела только темное пятно – да белые точки глаз. Но она и смотрела на него редко, потому что он был сбоку, она всегда молилась тому, материнскому...

Своими словами Серафима не умела молиться. Невольно ей пришли на память заученные слова, и она стала шептать:

– Господи, Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не даждь ми...

Но потом она остановилась и не кончила молитву. Не входили в сердце слова и не давали утоления радости. «Дух праздности...» В ней и не было духа праздности. «Уныния». Какое же уныние, когда радость? «Любоначала, празднословия...» Не для Серафимы были эти слова, и она невольно остановилась. А для счастья своего она не знала слов, которые могла бы сказать Христу. И она просто смотрела на ясноокий лик.

– Господи, Господи!

Христос показался ей знакомым, знакомым, милым, драгоценным, златокудрым, с синими добрыми глазами. Она так долго смотрела ему в лицо, что уже забыла почти, что это – Христос. Ее любовь была в Нем, была – Он.

И ни греха, ни смущения в душе оттого, что Христос – такой знакомый, такой похожий... Только усталость от счастья.

Лампадные тени бродили по подушкам. Лиза спала, красивая, тихая. Серафима подумала, что ей хочется плакать, – но слезы не текли. Она встала, быстро разделась, легла рядом с Лизой и сейчас же заснула.

## VI

Прошло несколько дней, потом недель. В воскресенье Серафима, как всегда, пошла к обедне. В церкви она молилась не по-домашнему, а по-привычному, крестилась, кланялась. Теперь она, входя, постаралась забыть свою радость, которая здесь казалась ей «греховной». В церкви это был грех, в церкви все грех, да и все иное было в церкви для Серафимы, чем дома. И свет иной, и лампы, и лик Христа – не тот. Обедню она выстояла, как прежде выстаивала, потому что так надо. Впрочем, ей было немного скучнее и тяжелее.

Подходя к дому, Серафима вдруг почувствовала себя нехорошо, точно от злого предчувствия. Но это было только мгновенье. Радость сейчас же вернулась. А когда Серафима вошла в комнату – радость перешла в ужасное счастье и волненье: за столом, против отца, сидела Евлампия Ниловна, принаряженная по-праздничному, а сбоку, на стуле, с шапкой в руках – Леонтий Ильич. Раньше он никогда не бывал у Родиона Яковлевича, и Серафима поняла, что решается ее судьба.

– Вот и Серафима, – произнес Родион Яковлевич непривычно весело и громко. – Раздевайся живей, – видишь, гости. Евлампия Ниловна и сынка мне своего для знакомства привела. Попотчуй гостей-то. Я и сам после обедни чаю еще не пил.

Серафима хотела выйти, но в эту минуту Дарья уже внесла самовар.

– Ты, Дарья, погуляй с Лизой по двору, – продолжал Родион Яковлевич мягко. – Одень ее, Серафима. А сама останься, посиди в нашей компании. Мы уж тут, признаться, разные разговоры разговаривали, да всё не по-сурьезному.

Лизу увели. Серафима сняла шляпку и присела тихо, поодаль, не поднимая глаз.

Евлампия Ниловна казалась не то сердитой, не то смущенной; красная, она сжимала губы и обдергивала платье.

– Никаких у нас особенных разговоров не было, – сказала она. – А почему не поговорить. На то и в гости люди ходят, чтоб не молчать.

– Это как в какой час, – молвил Родион Яковлевич, и теперь в голосе его была обычная суровость. – Надо – поговорим, не надо – помолчим. Так-то, гости дорогие.

Евлампия Ниловна еще сердитее сжала губы. Потом произнесла:

– А вот Серафима-то у вас вечная молчальница. Эдак девушке не весело.

Родион Яковлевич глянул из-под бровей.

– Слышал я уже это сейчас от вас. Не весело ей. А какое ей веселье? Чему радоваться? Кого тешить? Серафиме не замуж идти.

Прошла минута тишины. Только самовар шумел. Заговорила Евлампия Ниловна:

– А почему ж и замуж не идти? Всякая девушка на свою судьбу надеется.

– Потому не идти, что Серафимины судьба иная. У нее сирота на руках, убогая. Ей о себе думать не показано. Да и что даром говорить? Она уж не молоденькая. И молоденькая была бы – для бесприданниц женихов-то нынче не припасено.

Он опять глянул из-под бровей. Евлампия Ниловна даже подскочила.

– Серафима-то у вас бесприданница? Вот оно как! А только что пустые слова говорить, Родион Яковлевич; слава Богу, на людях живем. Люди-то за это осуждают.

– Мне люди не указ. А слова мои не пустые, а крепкие. В кармане у меня никто не считал, да коли и считали – так то мое, и воля моя, и рассуждение мое. Случая не было – и воля моя не известна никому была, а нынче к слову пришлось – так таить мне нечего. Вот и Серафима пускай послушает.

Евлампия Ниловна не нашлась ответить. Леонтий Ильич и Серафима сидели, опустив глаза.

– Вот как я положил насчет дочерей моих, – медленно начал Родион Яковлевич. – Извините, гости дорогие, коль поскучаете, – вставил он вдруг ласково, – уж к слову пришлось. Да. Состояние у меня, слава Богу, есть, не великое и не малое, и все оно, по смерти моей, отказано мною дочери Елизавете. Опекуну тоже назначены, надежные, – по болезни, по ее. Дочери же Серафиме, пока она живет с сестрою, как жила, в брак не вступая, назначено содержание, сколько для жизни требуется. Она у меня к лишнему не приучена, да лишнего и не надо, и так в довольстве будет при сестре. Оговорено же у меня: если Серафима в брак после моей смерти захочет вступить или сестру на чужое попечение отдать, в лечебницу там, что ли, обязанностями своими тяготясь, – то пенсион она своего лишается.



Родион Яковлевич приостановился. Опять только самовар шумел, и то тише, потому что гас. Евлампия Ниловна, задыхаясь, спросила:

– А в случае, если Елизавета раньше сестры умрет? Все же Серафиме все после нее достанется.

– К людям веры не имею, – строго сказал Родион Яковлевич. – Злы люди, нет в них любви, а тем паче к убогому, который защитить себя как – не знает. О Лизавете, кроме отца родного, никто не позаботится. А умрет отец, останется она беззащитная, с состоянием – соблазн людям. Серафима не зла, да проста; коли будет после сестры наследницей – обойдут ее люди, наговорят, что вот, мол, одна помеха делу – сестра убогая, бельмо на глазу... Житье ли тогда Лизавете? Нет, тут разумение справедливости надо. И так у меня оговорено, что буде Лизавета и умрет – сестра ей не наследница. Содержание свое малое сохранит до конца дней, в монастырь захочет – единовременный вклад сделает – много ли надо? А Лизино состояние пусть тогда на вечный помин наших душ в Сергиевский приход пойдет.

Евлампия Ниловна хотела что-то сказать и не могла, только глядела широко раскрытыми глазами на старика.

– Что ж... что ж это? – вымолвила она наконец. – Да это законов таких нет... Это... за что ж вы так дочь-то свою родную обидели?

– По закону моя воля наградить дочерей, как хочу, – твердо сказал Родион Яковлевич. – А обиды тут нет. Я разумом до правды дошел. Серафима – плоть от плоти моей, я ей отец и наставник, я ее на истинном пути должен хранить. Я Господу за нее отвечаю. Путь ее ясен – как потрудиться в жизни. И до тридцати лет она с покорностью волю Божью совершала и без соблазнов пустых прожила. Будет соблазн – отец должен охранить ее по своему разумению.

Серафима ничего не поняла. Она и слушала как сквозь сон. Она только знала, что пришло какое-то неотвратимое несчастье, всему конец, и ей конец.

Евлампия Ниловна притихла и спросила уже несмело:

– Значит, ваша такая воля, чтоб Серафиме замуж не идти?

– Ежели бы она теперь вздумала и на долг свой восстала, я силком держать не стану. Да случая такого не вижу, потому что тогда ей ничего от меня не будет, а кому ныне жена-нахлебница не тяжела?

– А если бы, – продолжала Евлампия Ниловна, вдруг осмелев, – скажем, Лизавета еще при вашей жизни умерла? Все в Божьей воле. Ужели и тогда Серафиму обидели бы?

Леонтий Ильич встал и отошел к печке, не слушая.

Родион Яковлевич прикрыл глаза рукой, помолчал и сказал тихо:

– Что говорить? Его, Его воля. Захочет – иной труд укажет Серафиме. Нет ей от меня обиды и не будет. Оставит мне Господь одну Серафиму – увижу указание от Него, не возропщу. Все ее тогда, не для кого хранить. Я только волю Господа исполняю, по моему слабому разумению.

Наступило новое, долгое молчание. Самовар совсем потух. Леонтий Ильич так и не сказал ни слова.

– Что ж, гости дорогие, чайку? – вдруг ласково и громко произнес Родион Яковлевич. – Угощай, Серафима. Извините, заговорил я тут вас семейными делами. Оно бы и не следовало, да к слову пришлось. Простите старика.

Серафима поднялась.

– Кушайте, пожалуйста, – сказала она едва слышным, ровным, точно не своим голосом.

– Нет, нет, нам пора. И то засиделись. И пора-то прошла. Собирайся, Леонтий. Спасибо на угощении, Родион Яковлевич. Некогда нам. Разговор разговором, а дело делом. Нас извините, Христа ради. Не можем.

– Ну, как угодно. Жаль очень. В другой раз когда-нибудь милости просим. Проводи, Серафима, в сенях темно, кадка там стоит. Прощайте, благодарим покорно.

Серафима, как была, в платье, с открытой головой, вышла за Дуниными в сени и на двор.

Евлампия Ниловна обернулась к ней, лицо у нее было все красное, точно из бани, сердитое и взволнованное.

– Ну, прощай, прощай, Фимуша. Иди. Покорно благодарим папеньку твоего на угощении, на добром слове. Вот она, жестокосердость-то родительская! Старая-то вера где сказывается. Такие родители ответят Богу, ответят! Эх ты, моя бесталанная, страдалница, за чужие грехи ответчица! И жалко тебя, да помочь нечем. Коль не образумит Господь отца – пропала твоя доля, Фимочка!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.